ПОЧЕМУ САД В ЦЕНТРЕ СМОЛЕНСКА НАЗЫВАЕТСЯ БЛОНЬЕ?

Я коренная смолянка, и было бы естественным поинтересоваться, откуда это название – Блонье?

Но вот что удивительно, до войны подобные вопросы даже в голову не приходили. Это и другие смоленские названия были как имена твоих отца и матери, как твоё собственное имя, такие близкие, привычные...

В войну всё, касающееся родного дома, стало во сто крат дороже. Ибо от твоего дома ничего не осталось, ни малого пустячка, а от города хорошо хоть остовы домов.

Если встречал во вражеском тылу человека, который позже тебя покинул Смоленск, так ревниво расспрашивал почему-то в первую очередь – цел ли театр, построенный незадолго до войны. Тогда остро почувствовалось то, что с лёгкой руки Твардовского стало называться «малой родиной».

Как-то прошло незамеченным и повальное переименование улиц. Точно после октябрьского переворота 1917 года старались начисто стереть саму историю. В Смоленске не стало Покровской, Пятницкой, Никольской, Петропавловской, Костельной и других улиц. Пошла страшная нивелировка, под один копыл во всех концах страны, больших и малых городах появились «советские» улицы, у нас аж Большая Советская... А уж фамилию Урицкого, кто запятнал себя уничтожением петроградской интеллигенции, получили не только сотни, десятки сотен улиц, но даже и колхозы удостоились этой сомнительной чести.

Тогда же в нашем сухопутном Смоленске появилась Краснофлотская улица. И совсем кощунственным было переименование Резницкой, в названии которой запечатлена сама история, в улицу (с какого глузду?) Парижской Коммуны.

В Смоленске не стало садов – Соснового, Лопатинского, Кутузовского. Про Сосновский не знаю, а Лопатинский сад был назван в честь его основателя, губернатора Лопатина. Имя Кутузова, а надо помнить, что он ещё и Смоленский, сад получил после того, как был водружён там бюст фельдмаршала.

И недаром же, чтобы дать «смоленскую краску», знаменитый в своё время Л. Андреев пишет в одном из своих произведений, что свидание героини происходит в Лопатинском саду.

Но вместо Лопатинского сада появилось безликое, растиражированное и, если подумать, нелепое сочетание – парк культуры и отдыха. Или нерусское – сквер. Сквер героев, сквер пионеров... Что до этого последнего, то сроду там никаких пионеров не было, никаких пионерских сборов не проводилось.

Переименовательский зуд коснулся и нашего Блонья. Вдруг оно получило ни к селу ни к городу имя Серафимовича. Правда, это официально, а так было, есть и будет – Блоньем.

Да в наше время желание крушить привычное, укоренившееся проявил очередной временщик, некий Власенко, повелевший вырубить древние липы в Вонлярове, один из владельцев которого был дружен с Лермонтовым.

...Война в корне всё изменила. Побудило меня не только к поискам относительно всё-таки необычного названия – Блонье – также длительное общение с Н. И. Рыленковым. Вот уж кто знал как историю родного края, так и язык. Чувствовал его во всех оттенках, как говорится, на вкус, цвет и запах.

Сперва, милое дело, кинулась листать словари. Ушаков ничего не дал. Как всегда, ответ получила у Даля. «Блонье – болонье – ближайшая окруж-

ность города, предместья, слобода, околица». Уже тепло. Ещё один ответ нашла в «Словаре смоленских говоров». Тут прямо написано: «Блонье – 1. Заливной луг, неизменное место у реки; 2. Равнина, поле. 3. Название городского сада для гулянья». Ещё теплее.

Но истинной находкой были для меня изыскания по этому поводу доцента кафедры русского языка и литературы, чьими трудами были опубликованы несколько выпусков «Словаря смоленских говоров», Анастасии Ильиничны Ивановой.

Вот что она писала:

«Слово «болонье» – исконно русское. Несомненно, что в прошлом оно имело в русском языке более широкое употребление, о чём свидетельствуют, в частности, данные топонимики... Так, например, в Смоленской области насчитывается 20 сёл и деревень, в названии которых отражено интересующее нас слово или производные образования. Только в бывшем Духовщинском уезде есть девять деревень с названием Аболонье... Такая же деревня значится и в бывшем Поречском уезде... В Сычёвском уезде известна деревня Заболонье... В числе древних смоленских городов упоминается Оболенск... Материалы письменных памятников и живых современных говоров свидетельствуют о том, что слово «болонье» имеет несколько значений... 1. Сырой луг, низменное, заросшее травой и заливаемое водой место. 2. Открытое пространство, ровная площадка на местности – совсем горячо! – в предместье, окраина города, села... В «Военном словаре» Тучкова указывается, что слово «болонье» – старинное российское слово значит открытое место перед крепостью или городом для удобнейшей стрельбы с валов или стен».

Вот как раз перед укреплениями Смоленска... простиралось незаселённое пространство, подходящее к самым стенам города, называемое оболонье... С расширением границ Смоленска болонье вошло в его черту, было застроено. В конце XVII – начале XVIII веков это место очищается от обывательских домов и как место ровное и удобное превращается в плац-парадную площадь... В 1830 году для ученья и развода войск было отведено другое место, а старое было «дозволено» обратить в городской сад – «Болонье» (Блонье).

Итак, во-первых, Блонье, как мы убедились, исконно русское слово типа – варенье, питьё, пусть оно и стало по воле судьбы именем собственным. Но это, во-вторых, имя существительное среднего рода, которое склоняется – блонье, блонья, блонью, блоньем (не путать с французскими несклоняемыми – пальто, манто). И, следовательно, писать и говорить «иду по Блонье» так же безграмотно, не по-смоленски, как сказать: «прицениваюсь к ожерелье».

НЕОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА

1

Хочешь, я буду писать тебе?

Хотя смешно, правда, писать человеку, которого видишь несколько раз на неделе и которому можешь позвонить в любую минуту?

Нет, по телефону я не умею с тобой говорить: ведь мы оба с тобой знаем то, что не знают люди, и, что бы я ни говорила, ты поймёшь: я не о том...

Вчера, когда ты проводил меня из школы и ушёл, даже не оглянувшись ни разу, я чуть не смалодушничала, чуть не позвала тебя... Я вовремя вспомнила о твоей семье: ты и так задержался из-за меня. Нет, твоя жена и дочурка не должны ждать тебя: ведь никто не виноват, что твоя семья не наша с тобой семья!

Я сижу сейчас и проверяю тетради, а в кувшине передо мной сосновая ветка. Ты сломал её, чтобы отряхнуть с меня снег, и бросил. Я подобрала её, когда ты ушёл.

Она стоит передо мной, снег оттаивает, и она вся точно в слезах. И по всей комнате пахнет сосной.

А плачу я.

И всё-таки я рада, что работаю недалеко от тебя, что могу видеть тебя, говорить с тобой.

Помнишь:

Пощади моё сердце
И волю мою
Укрепи,
Потому что
Мне снятся костры
В запорожской весенней степи.

Впрочем, зачем я спрашиваю – помнишь ли? Я знаю: ты помнишь и эти, и другие стихи. Мы много их читали в ту осень – нашу осень.

Ты сказал, что теперь не читаешь стихов. Да, тебе некогда, и потом я знаю: твоя жена не любит стихов.

Она сказала мне, что семейная жизнь – это сплошные будни.

У нас с тобой не было бы будней.

Только сейчас я поняла, какое великое счастье я потеряла – жить, работать, думать, мечтать вместе с тобой!

2

...Сегодня проводила свою первую беседу с колхозниками. Тебе, наверное, уже сказали – всё хорошо прошло. И Иван Степанович, бригадир, меня похвалил, и твоя жена.

Но я-то знаю: не моя в том заслуга. Просто я очень хорошо помню твои письма: ты ведь так подробно писал мне о том, с чего начал, чем живут люди колхоза, что даже забывал в конце написать – целую.

Твоя жена сказала, что моя беседа была построена методически правильно, но это не совсем на тему. Я с ней не согласна, но за меня ответил Иван Степанович.

– Вот чаще так-то оглядываться надо, сравнивать: что мы вчера были, а что сегодня.

От лица всей бригады, как он выразился, Иван Степанович попросил меня рассказать, какими будут наши Каролищевичи через семь лет. Это ведь интересно, правда?

3

...Как ты умеешь зажечь людей! Ни одного из нас не оставил ты равнодушным! Действительно, от нас, сельской интеллигенции, зависит очень многое. Потому что за эту сямигодку (видишь, я уже знаю белорусские слова!) люди станут более сознательными. Ты хорошо сказал: «Люди в нашем колхозе работают так, что должны уже сегодня смотреть на звёзды. От вас, сельской интеллигенции, зависит – дать этим людям все сокровища науки и искусства».

Эти слова растрогали твою жену. Она сказала мне (ох, как тяжела мне её откровенность!): «Я всё прощаю своему мужу за то, что он столько сердца вкладывает в работу. Вероятно, поэтому у него так мало остаётся для дома, для семьи». И ещё она спросила у меня: «Не правда ли, трудно поверить, что дома – он чёрствый человек?»

Это ты-то – чёрствый человек!

4

Ты так заразительно смеялся, когда выступали мои ребята! Они чувствовали себя очень польщёнными, что сам старшыня калгаса так доволен их игрой!

А потом ты посмотрел на меня, – прости, что мои глаза не были весёлыми. Я в то время думала: «Да не во сне ли мне приснилось всё, что было...» Я хотела, чтобы ты встал и подошёл ко мне, как на наших студенческих вече-

рах. Ведь я всегда ждала, когда ты напляшешься и вспомнишь обо мне. Ты вспоминал всегда вовремя и уводил меня.

Ты и сейчас встал, но не подошёл ко мне. Ты ушёл совсем.

И мои ребята играли после твоего ухода без прежнего воодушевления.

5

Вчера так захотелось хоть голос твой услышать. В школе телефон почему-то не работал. И я пошла в сельсовет.

Какой великолепный здесь лес! Какая великая в нём тишина. Ты всегда говорил, что если человеку худо, он должен побыть наедине с природой. Да, ты прав, всё мелкое тогда уходит от тебя.

Но ведь большое, настоящее – остаётся!

Ты замечал, что летом, когда всё зелено, не бросается в глаза разница между различными породами деревьев. Зато сейчас каждое дерево стоит отдельно. Ели такие хмурые, величественные берёзы голы и беззащитны. А у маленьких ёлочек (это насажено уже тобой!), опушённых снегом, смиренно-лукавый вид, и они похожи на девочек-школьниц в форменных платьицах, белых воротничках и передничках. А дубки, даже самые небольшие, стоят так, словно ничего нет вокруг них. И листья на них не опадают даже зимой – наверное, из гордости.

Этого я не увидела бы без тебя. Спасибо тебе, что ты на многое раскрыл мне глаза.

Ты, наверное, удивишься, что в сельсовет я пошла более дальней дорогой. Но ведь это – дорога к тебе. А вдруг ты пойдёшь ко мне, и мы разминемся? Поэтому я и хожу всегда кружным путём – нельзя, чтобы мы разминулись.

Я так и не дозвонилась до тебя: конечно, ты был в это время уже дома.

Говорят, незнакомая дорога всегда кажется более длинной. Нет, длинным мне показался обратный путь. И как темно, неприютно стало в лесу, и ёлочки уже не были похожи на лукаво-смиренных девочек.

Помнишь, бородинское: «Тёмный лес шумел, тёмный лес гудел»?

6

Прощай, я не могу так больше. Прощай. Ещё никто не знает, что я уезжаю не на каникулы, а навсегда. Ты не удивишься, – я знаю, ты огорчишься.

Твоя жена (она очень хорошая женщина, ты просто не видишь этого!) спросила меня сегодня, почему я не замужем. Я ей сказала: «Потому что люблю женатого человека». Она удивилась: «Будь я на месте этого женатого человека, я бы ни за что вас не упустила». Она так и сказала: «Не упустила».

И тогда я, прости меня за это, – спросила: «А вы счастливы в замужестве?» И она ответила: «Нет, несчастлива».

Ты никогда мне об этом не говорил. Впрочем, ты слишком самолюбив, чтобы признаться в таком. Ведь из-за этого твоего самолюбия не стал ты тогда настаивать, чтобы я бросила институт и поехала с тобой!

Ты обещал приехать ко мне в этот последний мой вечер. Я ждала долго-долго. Я ходила на шоссе, думала, встречу тебя. Когда вернулась, у дома стояла «Победа». Я не сразу сообразила, что это не твоя машина, хотя сама говорила колхозникам: «Давно ли у правления была «Победа», а сейчас, после сельскохозяйственной выставки, «Волгу» заслужили». Но об этом я не подумала и, как сумасшедшая, влетела в хату. Теперь я тебе могу признаться: я ждала, что ты придёшь ко мне навсегда и мы будем втроём – ты, твоя дочурка и я.

7

Пишу уже дома. Вчера заходил Иван Степанович. В числе прочих новостей он сказал, что в день моего отъезда ты так спешил куда-то, что запорол и бросил среди дороги свою «Волгу» и на первой попавшейся машине – то был бензозаправщик – помчался дальше... Ты не успел к поезду всего на несколько минут.

Значит, ты всё-таки ехал ко мне. Спасибо, что ты и в этом не обманул меня. Может, так и лучше, что ты не успел к поезду.

Спасибо тебе за всё, что ты дал мне. В этой школе, где мне предстоит начать новую жизнь, много белорусских ребят, и я всерьёз стану теперь изучать белорусский язык. Ты научил меня чувствовать его музыку – это главное! Помнишь, как ты говорил: «Ни в одном языке, кроме белорусского, нет такого чудесного слова – варьят. Это не просто сумасшедший, это – сумасшедший от любви».

Впрочем, ты, белорус, научил меня слышать по-настоящему и мой родной русский язык. Как ты нас агитировал, когда мы ездили на уборку: «Слушайте, как говорят в деревне. Только там вы услышите настоящее, меткое, русское слово».

Ты немножко преувеличивал, как всегда, когда тебя что-то увлекало. Но твои увлечения никогда не проходили бесследно ни для тебя, ни для дела. Ведь именно в то время написал ты ту свою статью, которая получила столько откликов.

Ты многому научил меня, и я тебя тоже постараюсь ни в чём не обмануть.

Конечно, у меня нет ни твоего ума, ни твоей воли, я не смогла бы так легко бросить аспирантуру, научную работу, которой ты готовился посвятить всю свою жизнь, отказаться от той блестящей будущности, которую тебе прочили.

Да и твоя будущность – в твоих руках. За три года ты сделал колхоз первым в области, скоро он станет первым в республике. Я-то знаю, как велик твой авторитет среди колхозников!

Ты даже стихи не боишься им читать, и им не кажется это смешным в их старшыне.

Не читай их только дома. Ладно?

Я ничего не обещаю, но я уже заранее люблю школу, в которую еду, ребят, – а в деревне ребята особенно смышлёные и любознательные.

Со мной остаются книги – и те, что мы читали вместе, и те, что ты прочтёшь уже без меня. И твои песни матросские со мной останутся, и люди, и работа, и природа – понимать и принимать которую ты научил меня со всей полнотой своей щедрой души.

Мне некого винить, что тогда я не поехала за тобой. Зато теперь и без тебя поеду куда угодно, лишь бы была там во мне надобность. Теперь я уже не боюсь, что меня, городского человека, не поймут. Нет, любой человек поймёт любого человека, если их объединяет дело, общее дело.

Я не выполню уже своего обещания: не расскажу в твоём колхозе о том, какими станут Каролищевичи. Но с тобой колхозники и сами увидят свои Каролищевичи и богатыми, и красивыми.

Спасибо тебе. И прощай!

В ВЯЗЬМЕ, В СОРОК ПЕРВОМ
(из недописанной книги)

Несколько лет назад я приняла, как скоро стало ясно, совершенно авантюрное решение – писать продолжение «Смоленской книги». А авантюрное потому, что для этого надо иметь, во-первых, хоть минимум покоя, который нам даже не снится. Во-вторых, хотя бы относительную свободу от быта, а он, чем становимся старше, даётся всё тяжелее. В-третьих, мало-мальски сносное здоровье. Ничего этого у меня нет.

Но ведь можно по возможности записывать отдельные эпизоды, сюжеты, главки, наконец. К этому меня подвели мои «Мимолётные записи», их рождению я всецело обязана Леониду Ивановичу Козырю, его настойчивости, с которой он побуждал меня искать свою нишу в газете.

Отсчёт поведу от 22 июня 1941 года. К этому подтолкнуло выступление драматурга Володина по телевидению 9 мая 1998 года. Он говорил, что все его друзья в тот день ЛИКОВАЛИ: ну и дадим же мы фашистам! Допускаю, что и так могла быть встречена страшная весть. Но, может, в силу своего характера, несколько угнетённого, мнительности, мне свойственной в высшей степени, всяческих комплексов для меня 22 июня – только обвал, ужас, жизнь сразу

резко разделилась на «до» и «после». Хотя, как и у всех, теплилась надежда, по крайней мере, на быстрое окончание войны. Мы же были воспитаны на том, что непобедимы, чужой земли не хотим, но и своей ни пяди не отдадим...

По инерции я ещё готовлюсь к последним экзаменам за второй курс пединститута. В зачётной книжке записи: 23-го я сдавала русскую литературу XVIII века, 25-го – старославянский язык. Кто принимал литературу, не помню, фамилии не разберу, а узнать уже не у кого. А язык – Успенский. Всего сданы 6 экзаменов.

Сперва нас, студентов, посылают дежурить на вокзал, куда уже хлынула целая лавина беженцев, тогда говорили – эвакуированных, совсем новое слово в нашем лексиконе. Мы мало могли им помочь – принести воды, посторожить вещи, у кого они были, посидеть с детьми... Затем весь институт отправляют на рытьё противотанковых рвов в Краснинский район. Рвы эти, к сожалению, не задержали ни одного вражеского танка.

Уезжать, бежать наша семья почему-то не помышляла. Скорее всего потому, что мать была секретарём довольно крупной парторганизации на фабрике-кухне и её обязали остаться и кормить проходящие воинские части. Когда немцы были уже в верхней части города, на отчаянный звонок матери в горком партии был получен всё тот же ответ – оставаться, не ПАНИКОВАТЬ. Это была грозная формула. А сам секретарь горкома Мозин помчался на восток. Были брошены все документы, все архивы, после войны оказавшиеся аж в Америке и широко потом публикуемые.

Для меня истинным благом явилось решение обкома комсомола о зачислении меня в штат молодёжной газеты, в которой до этого я была внештатным членом редколлегии. Ведь редакционных мужчин почти всех призвали в армию.

И сразу же всех перевели на так называемое казарменное положение. Я оказалась здесь – в верхней части города, в Доме печати, мать, отец, сестрёнка – в Заднепровье, на той самой фабрике-кухне.

Не помню, не знаю, пришлось ли ещё побывать дома. Как не знаю. когда именно при очередной бомбёжке, а она началась уже 24 июня, на второй день войны, он сгорел. Минимум вещей, главным образом зимней одежды, родители унесли с собой. Но в очередной налёт какой-то нелюдь их украл.

Бегу в Заднепровье – узнать о своих, телефон уже не работает, сказать, что, вероятно, придётся уезжать. Именно бегу, потому что улица Советская после бомбёжки с 28-го на 29-е июня превращена в огненный коридор, чуть волосы не загораются. Сидим в садике возле швейной фабрики, вещи ещё не украли, но я рассчитываю через несколько дней, как станет известно, где будем выпускать газету, вернуться за ними. Мы уславливаемся, на всякий случай, что будем писать брату в Ногинск, чтоб узнать друг о друге.

Я не увижу своих родных, свой город до лета 1944 года.

Когда были уже в Вязьме, меня всю осыпало фурункулами, несколько дней пришлось даже полежать на подобии ложа из досок в крохотной комнатушке вблизи от редакции. У противоположной стены – Пикаревич, редактор нашей комсомольской газеты, тоже занедуживший. Не он ли и приносит мне письмо из Ногинска? Нет, о наших брат ничего не знает.

Вот когда от чувства страшного одиночества, я ведь была очень домашним человеком, начинает возникать эта мысль – я должна быть на фронте, раз мои родители не сумели выбраться из Смоленска. Ещё не было этого слова – в оккупации.

Ещё одно обстоятельство до Вязьмы подспудно толкало меня к решению попасть на фронт. Редакция газеты, уместившаяся среди рулонов бумаги в полуторке, выехала из Смоленска искать себе пристанище. Сперва мы очутились в Спас-Деменске. Здесь из лживой, как оказалось, сводки узнали, что Смоленск сдан тогда-то и тогда-то. Хотя от тех, кто успел ещё уйти из города, стало известно – он пал 15 июля.

В Спас-Деменске мы ещё успеваем выпустить несколько номеров газеты. Здесь в пыли, на улице я нахожу том Блока, кем-то утерянный или брошенный. О своих книгах я могла только мечтать. Эта брошенная книга меня потрясает сильнее, чем другие, более страшные обстоятельства. Да тут всё читается по-особенному.

Россия, нищая Россия,
Мне избы бедные твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви...

Школа не подружила с поэзией. Но тут и тогда сердце открылось ей.

И Блок, как это может показаться странным на первый взгляд, подтолкнёт к ещё неясным мыслям, что должна быть с теми, кто воюет.

За Спас-Деменском последует Козельск, с берёзовой рощей на подъезде, точно сошедшей с куинджевского полотна, затем Тёмкино. Сюда из обкома комсомола Е. И. Сапожков привезёт весть: газета прекращает своё существование. В Тёмкине нас поведут на сырзавод, чтобы мы брали, что хотим и сколько хотим – масло, творог, молоко, сыры, сметану... Что до сметаны, вряд ли я её пробовала до тех пор, впрочем, как и сыр.

И вот этот бросок по области, совершенно мне незнакомой, так как из Смоленска я выезжала только в бабушкину Катынь да на станцию Духовская к приятелю отца и ещё в Рудню – к тётке, выдворенной из Днепропетровска после ареста мужа и не имевшей права, как ЧС врага народа, жить в Смоленске. И то, что я узнавала в лицо свою область, тоже укрепляло меня в ещё неясном решении.

Военная страда вообще научит меня пристально вглядываться в те деревеньки, которые попадались нам на пути или в которых мы задерживались ненадолго. Что существуют ещё и города, в иные времена переставало вериться. А у каждой деревни было своё лицо, свои неповторимые черты, добрые или недобрые приметы.

Ах, почему нам особенно дорого то, что мы теряем!

И вот Вязьма – пылающая, бомбёжки страшные, ежедневные, особенно сильные на станции, где скопились эшелоны с боеприпасами.

Меня берут в «Рабочий путь» просто корректором, ревизионным корректором, корреспондентом. Успеваю написать о связистах, моя заметочка подружит меня с замечательным человеком – М. А. Примычем.

Одиночество не ушло, но, как нигде раньше, чувствуешь здесь участие совсем незнакомых людей. По-матерински опекает меня редакционная машинистка Аня Назимовская. Сближает общее горе – у неё в Смоленске остались мать и сын.

В нашу комнатёшку, бывает, втискиваются приезжающие с недалекой передовой столичные корреспонденты отписаться, главное – успеть передать материал по телефону. Это Миша Зотов. Он знаком с Пикаревичем по совместной работе в Смоленске. Он представляет «Красную Звезду». После войны редактировал мемуары военачальников в «Воениздате», потом был членом редколлегии в «Знамени». Это Евгений Иосифович Габрилович, впоследствии известный сценарист. Василий Коротеев – тоже из «Красной Звезды». Известинец Евгений Генрихович Кригер, чьи очерки пользовались большим успехом у читателей. Помню, что Габрилович почему-то был очень удивлён, что я читала «Алые паруса» Грина.

Габрилович и Кригер – завзятые остряки. Самый дружный смех вызывает то обстоятельство, что жена Габриловича якобы так ревнива, что заставляет звонить ей по многу раз на дню.

О бомбёжках надеюсь ещё написать особо. Страшно, жутко, сколько раз прощаешься с жизнью. Но жизнь тем не менее идёт своим чередом. В промежутках между налётами бегом-бегом устремляемся в столовую по усыпанной осколками площади. Кормят там по-царски, чтобы продукты не достались немцам. А тут ещё беда: заставляют нас рыть щели, и – раз – платье на спине совсем расползлось. Другого нет. Купить материал ещё возможно, но сшить?! Хозяйка квартиры, хоть и портниха, наотрез отказывается. Всем миром, слава богу, сыграло роль мужское обаяние, уговорили. Я – в платье.

В один из дней корплю над корректурой. Между полосами огромный промежуток времени, Кригер соблазняет сходить в кино. Да, ещё и кино крутят. А если налёт не на город, а на станцию, так никто и не шелохнётся, пока фильм не закончится. Опять через площадь. Смотрим весёлую комедию «Антон Иванович сердится».

Через много-много лет, встретив в Доме творчества кого-то из смолян, Кригер спросит, не знает ли тот девушку Веру из Вязьмы? Что «девушке Вере» под сорок, не возьмёт в толк и надпишет свою книгу «Небо в алмазах»: «Вере Андреевне Звездаевой – на память о Вязьме 1941 года и «Антоне Ивановиче», который сердится».

Потом я встречу самых разных людей – и участливых, и равнодушных, но здесь, в Вязьме, было столько деятельного сочувствия, отзывчивости, желания чем-то помочь... То столкнусь с родителями кого-нибудь из своих одноклассников – такая обоюдная радость. То просто человека, что попадался тебе ежедневно по пути в институт. Значит, жив, успел уйти из Смоленска. Вот, выполняя чью-то поспешную просьбу, отрываю от студенческой зачётной книжки свою фотографию, дарю... Этот человек, как и все мы, не знает, что с ним будет завтра, и цепляется за мирное – фото на память.

И наступает последняя ночь в Вязьме. Фронт дышит в затылок. Спешно погружаемся на безотказную полуторку. Всё имущество редакции брошено. Скорей, скорей. Меня из полуторки выхватывает В. Коротеев – у них в легковушке есть место. На каком-то участке простреливаемого шоссе, а всё небо в трассах огня, настигаем полуторку. Как! – Аня Назимовская, Пик, рабочепутейцы – там. А я?! Пересаживаюсь к своим. Кто-то суёт в руки солдатское одеяло. Во благо ли это было, теперь уже не имеет значения.

Сперва мы оказываемся в Гжатске. Ни о какой работе нет уже и речи. Ночуем в школе, утром обнаруживаем совсем рядом огромную воронку на месте, где был ещё вчера детсад... И отсюда – быстрей, быстрей... В Можайске нас всех рассчитывают. Мы больше не редакция. И свершилось – не только Смоленск, но и вся область занята немцами.

На открытой платформе, а уже холодно – октябрь, мы едем в белый свет, как в копеечку.